

ГЕОРГ ЗИММЕЛЬ

Социология трапезы¹

В социальном существовании неизбежно оказывается, что существенные элементы, свойственные всем индивидам любой группы, никогда не обнаруживаются как высшие, но чаще всего как низшие потребности и интересы этих индивидов.

И это не только потому, что внутри органических видов формы и функции, присущие каждому индивиду, являются унаследованными от более ранних, то есть совершенно примитивными, грубыми, полностью привязанными к жизненным потребностям. Скорее всего, то, что свойственно каждому, свойственно ему по природе; и вообще человеку свойственно нисходить от высшего к низшему; но не так легко от низшего к высшему подняться — поэтому общий уровень, который всех объединяет, очень близок к самому низшему уровню.

Все высшее, духовное, значительное не только развивается отдельными индивидами; кроме того там, где отдельный индивид исповедует высшие ценности, они имеют специфическую тенденцию и отличаются от общего уровня.

Прежде всего общим является то, что присуще всем людям: то, что все они должны есть и пить.

И именно это на самом деле и есть самым эгоистическим, безусловно и непосредственно определяющим индивида: то, что я мыслю, я могу сообщить другому; то, что я вижу, могут увидеть другие; то, что я говорю, могут услышать сотни, но то, что один ест, ни при каких обстоятельствах не может есть другой.

Ни в одной высшей сфере нет такого, чтобы от того, чем располагает один, другой обязательно должен был отказаться.

Поскольку эта примитивная физиология присуща абсолютно всем людям, она образует содержание общих действий. Социологическая структура трапезы возникает, когда она связывает исключительный эгоизм еды с коллективностью общественной жизни, с привычкой к общности (*Zusammenseins*) как с высшим и духовным порядком, что довольно редко случается.

¹ *Georg Simmel: Soziologie der Mahlzeit.* Режим доступа: <http://socio.ch/sim/verschiedenes/1910/mahlzeit.htm>

Личности, которые не разделяют между собой никаких взаимных интересов, могут находиться за общим столом — значение этой связанной с трапезой возможности, привязанной к примитивному и поэтому универсальному материальному интересу, неоченимо.

Древние культы, в которых в противоположность мировым религиям участвовал только ограниченный круг последователей, могли превращаться в сакральную трапезу.

В особенности в семитской древности братские отношения определялись как равный доступ к столу Бога.

Совместная еда и питье даже арабов, находящихся в смертельной вражде, превращала в друзей, порождала огромную социализирующую силу, которая давала возможность, даже если едят и пьют не “ту же самую”, но совершенно отдельную порцию, создавать примитивное представление об общности тела и крови.

Первоначально христианская тайная вечеря, которая идентифицировала хлеб с телом Христовым, создала на основе этой мистики действительное тождество едоков и тем самым уникальную связь сотрапезников.

Именно здесь, где не один берет у другого отчужденную часть целого, но где каждый каждому предлагает целое в его нераздельности, эгоистическая исключительность любой пищи полностью преодолевается.

Именно потому, что совместная трапеза, событие физиологически примитивное и неизбежно всеобщее, входит в сферу общественного взаимодействия и тем самым надличностного значения, в некоторые эпохи она приобретала огромную социальную ценность, отчетливым проявлением чего являются запреты, касающиеся участников трапезы.

Так, Кембриджская гильдия в XII столетии установила высокий штраф для тех, кто ест и пьет с убийцей одного из членов гильдии; так, по указу Венского Совета от 1267 года, с его строгой антииудейской направленностью, христианам запрещалось обедать вместе с евреями; так, в Индии осквернение из-за совместной трапезы с членом низшей касты имело смертельные последствия! Индусы часто ели одни, чтобы избежать запрещенного общества.

Для всей средневековой системы гильдий совместные трапезы имели такое жизненно важное значение, которое сегодня мы не можем даже вообразить.

Легко поверить, что в небезопасном и изменчивом средневековом мире это [совместная трапеза] было, так сказать, видимым устойчивым основанием, символом, на который всякий раз ориентировалась безопасность соучастников.

Вместе с этим раскрывается связь, благодаря которой совершенно материальная внешняя сторона питания может соприкоснуться с бесконечно выше лежащим принципом: в большинстве случаев, в которых трапеза подлежит социологическому рассмотрению, она формируется посредством стилистического, эстетического, надличностного регулирования.

Все предписания относительно еды и питья, независимо от несущественного взгляда на еду как материю, касаются формы ее потребления.

Прежде всего это касается регулярности трапезы.

Мы знаем о существовавших в далеком прошлом народах, которые не имели определенного времени приема пищи, питались анархически, только когда чувствовали голод.

Сообщество трапезы приводит к временной регулярности, так как только в предписанный час должна собраться определенная группа участвующих — первое преодоление натурализма еды.

В том же направлении лежит то, что можно назвать иерархией трапезы: не накладывать пищу подряд и беспорядочно в блюдо, но соблюдать определенную последовательность, в которой себя обслуживаешь; в английских торговых клубах, предтечах современных профсоюзов, всякий раз штрафовался тот, кто пил вне очереди.

Во всех этих примерах формальные нормы возвышаются над флуктуирующими потребностями индивида; социализирование трапезы они поднимают до эстетической стилизации, которая, в свою очередь, воздействует на них. Там, где посредством еды, кроме цели насыщения, достигается еще эстетическое удовольствие, возникают дополнительные затраты, которые не только легче переносятся обществом, чем индивидом и которые благодаря этому получают значительную поддержку.

Наконец, регулирование застольных манер, их нормирование в соответствии с эстетическими принципами является результатом социализирования трапезы.

В низших классах, где трапеза в основном центрирована вокруг материальности еды, не вырабатывается никаких типических регулятивов, касающихся застольных манер.

В высших социальных группах, в которых привлекательность совместного бытия вплоть до его — по меньшей мере условной — кульминации в “обществе”, где доминирует чистая материя трапезы, для регулирования соответствующего поведения возникает кодекс правил, определяющих, как держать нож и вилку и какие темы пригодны для застольных бесед.

В противоположность образу отдельного едока в крестьянской избе или во время рабочего праздника, в образованных кругах возникает [образ] обеда, который полностью деиндивидуализирует, схематизирует и регулирует движения обедающих.

Эти строгие нормирование и стандартизация не имеют никакой внешней цели. Они означают исключительно трансценденцию или трансформацию, которая материалистически индивидуальный эгоизм переводит в социальную форму трапезы.

Уже еда при помощи столовых приборов образует базис для проявления ее эстетического стиля.

Еда с помощью рук намного индивидуалистичней, чем с помощью ножа и вилки, она привязывает индивида непосредственно к материи [еды] и выражает несдерживаемое желание.

Столовые приборы ставят этому желанию определенную дистанцию, общая, способствующая объединению форма регулирует процессы еды, что невозможно при еде руками.

Этот мотив усиливается во время манипулирования столовыми приборами благодаря тому, что общие нормированные формы предстают как свободные. Сжимать нож и вилку в кулаке безобразно, потому что это мешает свободе движения.

Застольные манеры необразованных жестки и неуклюжи, лишены надличностного регулирования; жесты образованных обладают такой регулярностью, они непринужденны и совершаются свободно — как символ того,

что социальное нормирование их собственной жизни приводит к свободе индивида, которая противостоит натуралистическому индивидуализму.

Еще раз зафиксируем этот синтез: в противоположность миске, из которой в примитивную эпоху каждый просто доставал пищу, тарелка — продукт индивидуалистического мира.

Она показывает, что эта порция предназначена исключительно для этой личности.

Это подчеркивает круглая форма тарелки; круглая линия содержит в себе исклочение, ее содержание замыкается в ней самой (в то время как предназначенная для всех миска имеет углы или овал) и, следовательно, вызывает меньше зависти.

Тарелка символизирует порядок, который удовлетворяет потребность индивида в том, что ему как части разделенного целого полагается, и не позволяет ему выходить за свои границы.

Кроме того, тарелка возводит этот символический индивидуализм к высшей формальной общности; тарелки на обеденном столе должны быть совершенно одинаковыми, и никакой индивидуальности; разные тарелки или бокалы для разных людей были бы абсолютно бессмысленны и безобразны.

Каждый шаг, который возвышает трапезу в непосредственном и содержательном выражении до высших синтетических социальных ценностей, одновременно приобретает и высшую эстетическую ценность.

Вот почему эстетическое примирение с материальным фактом еды мгновенно исчезает там, где даже при внешне сохраненной хорошей форме исчезает момент социализации — то, что заключается в нелепости [Widrigkeit] табльдота.

Здесь люди собираются исключительно ради еды, совместность не представляет здесь подлинной ценности; напротив, как раз и предполагается не вступать ни с кем в отношения, хотя вы сидите за одним столом.

Все убранство стола и все добрые манеры не выходят за материалистическую акцентировку цели еды: неприязнь любого утонченного чувства относительно табльдота показывает, что только социализация этой цели может привести к высшему эстетическому порядку. Привлекательности этого порядка не хватает души, поскольку совместное бытие как таковое не имеет никакого смысла, и оно никак не может скрыть непривлекательность, даже отвратительность физического акта поглощения пищи.

Эстетика трапезы не должна забывать, что она собственно должна стилизовать: удовлетворение потребности, лежащей в глубинах органической жизни и являющейся универсальной.

Поэтому если ее предметом и является материально индивидуалистическое, то она должна не стремиться к индивидуальной дифференциации, но только благодаря духовной нивелировке приукрашивать и очищать в допустимых пределах.

Индивидуальный вид пищи несовместим с ее целью быть съеденной: иначе это было бы похоже на каннибализм.

Поэтому для обеденного стола не свойственны резкие, вызывающие, современные краски, но ясные, блестящие, связанные с первоначальной чувствительностью: белые и серебряные.

При меблировке столовой избегают вызывающих, возбуждающих, экспансивных форм и красок и ищут спокойные, темные, тяжелые.

Из картин предпочитают семейные портреты, не требующие особого внимания, но вызывающие чувство родства и связи, возвращают нас к широте жизненного фундамента.

Эстетика в аранжировке и украшении блюд наиболее рафинированных обедов следует уже давно проверенным принципам симметрии, детской красочности, примитивным формам и символам.

Причем накрытый стол не должен выглядеть как законченное произведение искусства, чтобы любой без колебаний мог разрушить его форму.

Если красота произведения искусства заключена в его недоступности, которая нас держит на дистанции, то изысканность обеденного стола своей красотой приглашает нас в нее проникнуть.

Строгое общее упорядочение застольных манер для высшего класса благодаря его положению тем более необходимо, потому что он легко подвержен искушению индивидуализма.

Индивидуализм в способе потребления еды, подобный индивидуализму в походке, costume, в образе речи и во всех других жестах, должен быть преодолен не только в силу внутреннего противоречия, но и в силу ценностной неуместности, так как нечто высшего порядка применяется к чему-то низшего порядка, расположенному совершенно в другом измерении, где нельзя найти никакого основания, без которого все проваливается в пустоту.

Подобным образом застольные разговоры, с тем чтобы соответствовать хорошему тону, не должны выходить за рамки общих типических предметов и способов поведения, в индивидуальные глубины.

Теперь это следует объяснить, исходя из физиологической целесообразности.

Она требует избегать рассеянности и возбуждения во время еды. Эта целесообразность выражает на языке тела глубокие социально-психологические связи, которые придают здесь абсолютно примитивной потребности в силу ее повсеместной распространенности социальную реализацию, благодаря чему она поднимается в сферу высшей и духовной привлекательности, не утрачивая целиком своего базиса.

Поэтому совершенно ошибочно критиковать банальность обычных застольных разговоров.

Грациозные, но всегда общие и безличные застольные разговоры не должны полностью раскрывать свои основания, разоблачающие твердо установленные хрупкую легкость и изящество их поверхностной игры.

К этому следует добавить, что в целом ряде жизненных сфер низшие явления являются не только негативными ценностями в качестве исходного пункта для развития высших, не только основанием, над которым они возвышаются, но их низшее положение выступает, как правило, фундаментом, на котором зиждется высшее.

Как отмечал Дарвин, телесная слабость человека в сравнении с относительно крупными животными вероятно была мотивом, который привел его из изолированного существования к социальному; к раскрытию способностей интеллекта и воли; благодаря чему он восполнил не только свою физическую недостаточность, но на этом основании благодаря своей общей силе превзошел всех своих врагов.

Подобные формы можно найти среди элементов личной морали.

Соблазн и соблазнение, грех и вина являются одним из полюсов моральной шкалы, которая связывает их непростыми переходами с добрым и чистым; поэтому высшие вершины моральности непосредственно обусловлены той самой темной и глубинной стороной нашего существования.

Кто может говорить о моральной заслуге, если нет борьбы с искушением, которому, согласно легенде, подвержены даже святые, нет преодоления недостойного, чувственного, эгоистического? Тот факт, что на небесах больше радости по поводу раскаивавшегося грешника, чем от десяти праведников, лишь выражает эту внутреннюю структуру, где негативное не только предстает как тень от наших ценностей, но и противоположное негативному получает свой смысл из этого противопоставления; из него раскрываются позитивные ценности, как положительная энергия — из своей противоположности.

Только темное и недостойное, сами в себе переплетаясь, могут производить доступное для нас светлое и полноценное.

Безразличие и банальность области, о которой рассказывают эти строки, не должны вводить в заблуждение, что в ней не живет своего рода парадоксальная глубина.

То, что мы должны питаться, является в развитии наших жизненных ценностей такой примитивной и низко лежащей фактичностью, безусловно объединяющей одного индивида с другим.

Но именно это дает возможность обнаружить в общей трапезе свое совместное бытие с другими и благодаря этому опосредованному социализированию преодолеть чистый натурализм еды.

Нет ничего такого низкого, для чего нельзя было бы построить лестницу, по которой бы мы поднимались от значимости жертвенного обеда к стилизации и эстетизации его законченных форм.

Если сущность трагического в том, что высшее само в себе разрушается, когда его потрясающие образы идеальных ценностей непосредственно борются с другими идеальными ценностями и из-за этого вынуждены погрузиться в ничто или негативное, то здесь последующее развитие полностью противоположно подобной судьбе.

Именно здесь низшее и ничтожное поднимается над самим собой, потому что оно есть та глубина, которая дает рост духовному и осмысленному.

Здесь, как обычно, значительность жизненного типа [*Lebens typus*] проявляется благодаря тому, что он не пренебрегает преобразовывать и незначительное.

Перевод с немецкого Виктора Бурлачука